

## О РУТЕНИЗМАХ АДАМА МИЦКЕВИЧА

Генрих Киршбаум (Берлин)

### I. ГЕОПОЭТИКА (АНТИ)ИМПЕРИАЛЬНЫХ МЕТОНИМИЙ

В результате Третьего Раздела (1795) Польша утратила остатки государственной независимости. Отныне как во внутренних национальных дискурсах польскости (*polskość*), так и в чужих, внешних конструктах Польши прошлая («былая»), историческая и (или) потенциально-провиденциальная целостность страны, исчезнувшей с карты Европы, определяется и предопределяется через свою парциальность — разделенность и раздробленность. Решающую роль в этих *para-proto*-нарративах играют различные геопозитические и геополитические метонимии Польши и утраченных ею восточных областей. Ярким примером такой поэтики интегральности посредством тематизации потерянной периферии оказываются польские романтические конструкты Украины и Литвы. В нашей статье нам бы хотелось рассмотреть мультифункциональные проявления этого «метонимического письма» на примерах из текстов Адама Мицкевича.

Если в научных работах последних лет уже были разобраны некоторые метафоры польских национальных дискурсов (см.: Koschmal 2005), то фигура метонимии оказалась практически вне поля зрения исследователей. При этом, как нам представляется, именно метонимия по многим причинам является тропом идентичности, основополагающим для польского антиимпериального письма первой трети XIX века. Метафоры работают на сходстве, метонимии выражают отношения смежности и принадлежности (Jakobson 1983)<sup>1</sup>. По следам Романа Якобсона Поль де Ман (Man 1979) подчеркнул, что если метафоры постулируют строгую связь между значением и структурой и сообщают высказыванию дискурсивную тотальность, то метонимии, напротив, создают смысловые смежности, основанные на вариативности и гибридности. На место аналогий и эквивалентов, присущих метафоре, в метонимии приходят нюансы, ассоциации и аллюзии. Неслучайно Харалд Блум в своей книге о лже-прочтении (другой перевод *Misreading* — «неправильное толкование»), посвященной де Ману, обосновывает свою теорию боязни влияния с позиций тропологии. Защита от гегемонии предшественников и претекстов риторически родственна метонимическим редукциям (Bloom 1975).

Метонимическое письмо работает в литературе разделенной Польши и разбросанной по всему миру польской диаспоры (так называемой *Polonia*) в первую очередь как субститутивный компенсатор. Именно оно генерирует новые дискурсивные фигуры вытеснения и замещения и поэтому точнее всего выражает открытую рану польского самосознания интересующей нас эпохи: утрату государственной самостоятельности, зияющее геополитическое отсутствие Польши вообще и потерю Литвы и Украины в частности. Метонимия оказывается в данном дискурсивном контексте не только фигурой отсутствия и присутствия, но также фигурой утраты и эрзаца, дефицита и представительства, захвата и освобождения. Посредством метонимий по-новому определяется утопичность и нелокализуемость после-раздельной Польши. При этом разделенность страны парадоксальным образом форсирует образование идеологии общности и целостности.

Утверждение Литвы как главной метонимии Польши, которое Адам Мицкевич проводил на протяжении всей своей поэтической деятельности, не было само собой разумеющимся. В 7-й сцене 3-й части драмы *Dziady* [Дзяды] Мицкевич недвусмысленно обозначил проблемный национально-культурный статус Литвы в

---

<sup>1</sup> Вслед за Якобсоном в настоящей работе мы относим синекдоху к частному случаю метонимии. О различии между синекдохой и метонимией см.: Ruwet 1983.

польской культуре 1820-х годов, косвенно раскритиковав высокомерие Варшавы и ее редукцию польскости до центрально-польских областей:

KAMERJUNKIER:

Pan z Litwy, i po polsku? nie pojmuję wcale —  
Ja myślałem, że w Litwie to wszystko Moskale.  
O Litwie, dalibógże! mniej wiem niż o Chinach —  
„Constitutionnel” coś raz pisał o Litwinach,  
Ale w innych gazetach francuskich ni słowa.

PANNA (*do Adolfa*):

Niech Pan opowie, — to rzecz ważna, narodowa.  
(Mickiewicz 1955: III, 203)

[Камер-юнкер: Вы из Литвы и [говорите] по-польски? Совсем не понимаю, — / Я думал, в Литве есть только москали. / О Литве, боже мой, я знаю меньше чем о Китае — / „Constitutionnel” что-то когда-то писал о литвинах, / Но в других французских газетах об этом нет ни слова // Панна (*Адольфу*): Пожалуйста, говорите. — Это дело важное, народное (национальное)].

В иронической рифме *Chinach — Litwinach* Мицкевич, может быть, несколько гипертрофированно передает варшавское восприятие Литвы 1820-х годов. Характерно, что игнорирование польскости Литвы критикуется именно в контексте дискурсов национальной идентичности (*rzecz narodowa*), центральных для интересующей нас эпохи.

Создание и расширение ментально-территориальной «польскости» в ближайшей культурной метонимии т.н. кресов (*kresy* — польское обозначение восточных областей Польши, отошедших России) касалось не только Литвы. Украина также часто фигурировала как «Шотландия Польши» (ср.: Кирчів 1971: 18). В произведениях так называемой «украинской школы» польской поэзии (Антоний Малчевский, Северын Гоцинский, Александр Гроза, Богдан Залеский и др.) искомая «истинная» Польша по схожему принципу геопоэтического метонимического смещения локализуется в Украине. «Украинскую» самоидентификацию здесь дополнительно поддерживает ранне-панславистская риторика<sup>2</sup>.

В литературе 1820-х годов геопоэтические и геополитические метонимии польскости начинают взаимодействовать и конкурировать. «Литовское письмо» Мицкевича направлено не только против варшавских центристов, но и косвенно против украинской школы. «Литва» становится мультифункциональным тематическим полем литературной борьбы, на котором не только решается судьба новой, «романтической» поэтики, но и идет битва за лавры национального поэта. Характерным, биографически мотивированным примером стыковки обеих конкурирующих метонимий Польши является первое, программное стихотворение «Крымских сонетов» – *Stepy Akerman’skie* [Аккерманские степи]. Его герой, поэт-изгнанник, оказывается охвачен как «романтическим» упоением безграничными просторами украинских степей, так и элегической тоской по родной Литве:

Wpłynąłem na suchego przestwór Oceanu,  
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,  
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,  
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

[...] Stójmy! — jak cicho! — słyszę ciągnące żórawie [sic],  
Których by nie dościgły źrenice sokoła;  
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się ziola.

2 О конструктах Украины в польской романтической литературе см.: Czerwiński 2005 и 2010, Fabianowski 1997 и 2006, Nieuwerkerken 2008, Ritz 2010, Zadencka 2007.

W takiej ciszy! — tak ucho natężam ciekawie,  
Ze słyssałbym głos z Litwy, — Jedźmy, nikt nie woła.  
(Mickiewicz 1826:29)

[Я врываю на простор сухого океана, / Воз ныряет в зелень, и качается, как лодка, / Посреди волн шумящих лугов, посреди разлива цветов, / Я огибаю коралловые острова бурьяна. [...] // Остановимся! — как тихо! — я слышу, как тянутся журавли, / Которых не достигнут зрочки сокола; / Я слышу, как колышется мотылек на траве, // Как змея дотрагивается до зелени своей гладкой грудью / В такой тишине! — Я в любопытстве так напрягаю слух, / Что мог бы услышать голос из Литвы, — Едем! Никто не зовет].

Мицкевич сделал лингвистическое пояснение к слову *burzan* как к украинизму: “Na Ukrainie i Pobereżu nazywają burzanami wielkie krzaki ziela, które w czasie lata kwiatem okryte nadają przyjemną rozmaitość płaszczynom” [На Украине и на (черноморском) побережье бурьяном называют большие заросли кустарника, которые летом покрываются цветами и придают равнинам разнообразие] (Mickiewicz 1826: 47). Последующие примечания Мицкевича объясняют уже другие, восточные реалии «Крымских сонетов» (ср.: Mickiewicz 1826: 47–48). В этом контексте эксплицитно маркированный рутенизм («бурьян») начинает работать и как ориентализм, в том числе и в постколониалистском понимании ориентализма. Автобиографический лирический герой Мицкевича находится не только в России, т.е. стране колонизаторов Польши, но и в стране (стороне), когда-то принадлежавшей самой Польше, а точнее, некогда могущественному польско-литовскому государству. Неслучайно «Крымские сонеты» воспринимались современниками вкуче с «украинской» поэтической повестью Антония Малчевского «Мария» (ср. *Myśli o literaturze polskiej* [Мысли о польской литературе] Михала Грабовского — Grabowski 1828: 107–108). Связь между обоими произведениями ощущалась не только через саму «романтическую» поэтику, но и через украинскую тематику, по крайней мере, в восприятии украинофила Грабовского.

В «Аккерманских степях» геопозитическая идентификация Мицкевича колеблется между фигурами пленника и покорителя, антиимперская жалоба и колониальная ностальгия дополняют друг друга. Украинские ландшафты, как и пейзажи Крыма в следующих сонетах, становятся не только местом проекции утраченной и вытесненной «Литвы», но и польским нео-сарматским ландшафтом «от моря до моря» (*od morza do morza*), от Балтики до Черного моря. Мицкевич «заражает» украинский хронотоп литовской компонентой. (Анти)колониальные само-литуанизации и само-украинизации переплетаются и смешиваются. Характерна в этой связи «оговорка» Мицкевича в исторической повести «Конрад Валленрод», написанной непосредственно после «Крымских сонетов». Здесь Мицкевич, синтезируя Литву и Украину, уже говорит о «литовских степях» („litewskie stepy“, Mickiewicz 1955: II, 124). Самоэкзотизирующие культурные рутенизмы и ориентализмы создают благодаря своей гибкой метонимичности многослойные фигуры идентичности, в которых отражается синтетичность и гибридность польского антиимперского и одновременно ностальгически-ревизионистского письма в преддверии восстания 1830 года.

## II. ПОЛЬСКОСТЬ И ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ

В «Крымских сонетах» провинциальность (анти)колониальных «рутенизмов» интенсифицируется за счет дискурсивного соседства с ориентализмами. «Литовско-украинский» сонет «Аккерманские степи» открывает сонетный цикл, кишущий восточными лексическими и культурными реалиями. Восточно-славянские регионализмы контекстуализируются в поэтико-риторическом пространстве других экзотизмов и сами становятся экзотизмами, обозначающими получужое и полунеизвестное, но одновременно подразумеваемыми и маркирующими бывшее свое, польское. При всей метонимичности вышеозначенных конструкторов и многообразии

масок и перевоплощений героя Мицкевича стабильным является их общий дискурсивный знаменатель – ностальгическо-провиденциальная польскость.

Эзоповы провинциализмы Мицкевича стали предметом как критической, так и апологетической рефлексии современников. Непривычность и провокативная непольскость подобной экзотики была ясна и самому Мицкевичу. Непосредственно после появления первых польских откликов и рецензий на «Крымские сонеты», которые собирал и присылал ссыльному поэту его виленский друг и учитель Йоахим Лелевель, Мицкевич писал последнему:

Każdy prawie grzech gramatyczny popełniony z namysłem i nieprędko chyba skruczę uczuję. Odwykłem od dźwięków mowy ojczystej; „kołysa” i „klaska” miłsze dla mnie aniżeli „-sze” i „-szcze”. (Mickiewicz 1955: XIV, 346)

[Почти каждую грамматическую ошибку я делал сознательно и не так скоро я почувствую раскаяние по этому поводу. Я отвык от звуков родной речи: „kołysa” и „klaska” мне милее чем „-sze” и „-szcze”.]

Рутенизм „kołysa” отсылает к 11-му стиху «Аккерманских степей»: „Słyszę, kędy się motył kołysa na trawie”. Прочитанное признание Мицкевича является ответом на полемику вокруг рутенизмов и ориентализмов в произведениях поэта, разгоревшуюся после выхода «Сонетов». Многие современники, в том числе и именитый критик Франтишек Салезы Дмоховский (Dmochowski 1962a и 1962b), осудили славянские регионализмы и восточные экзотизмы Мицкевича. На эту критику Мицкевич ответил в статье *O krytykach i recenzentach warszawskich* [О варшавских критиках и рецензентах] (1829):

Były wszakże i szczegółowe zarzuty: oskarżano mnie głównie o psucie stylu polskiego wprowadzeniem prowincjonalizmów i wyrazów obcych. Wyznaję, że nie tylko nie strzegę się prowincjonalizmów, ale może umyślnie ich używam.

[Были и конкретные упреки: меня упрекали, главным образом, в порче польского стиля введением провинциализмов и иностранных слов. Должен признаться, что я не только не избегаю провинциализмов, но и применяю их сознательно] (Mickiewicz 1955: V, 256)

Мицкевич переходит в наступление. В другом пассаже статьи (Mickiewicz 1955: V, 258) поэт, чувствуя за собой поддержку русских доброжелателей и ценителей «Сонетов», говорит о том, что классицистски воспитанные варшавские «ученые» обвиняют его в использовании «татарщины». Иронично и самоуверенно поэт говорит о пропасти между «униженным состоянием» писателей из провинции и «высокой иерархией варшавских рецензентов» (Mickiewicz 1955: V, 263). В своей местами откровенно саркастической инвективе Мицкевич целенаправленно играет парадоксами: как раз использование провинциализмов и должно вывести польскую литературу из ее провинциального положения. Де-провинциализация предполагает использование провинциализмов<sup>3</sup>. Цивилизованная, интегрированная в европейские парадигмы национальная литература должна, по мнению Мицкевича, работать с провинциализмами. Закостенелое, старомодно-консервативное понимание польскости обнажает истинный провинциализм Варшавы:

Recenzenci klasyczni warszawscy, stanowiący śmiało i zarozumiale o ważnych przedmiotach literatury, podobni są do miasteczkowych polityków, którzy nie czytając nawet gazet zagranicznych wurokują o tajemnicach gabinetów i działaniach wodzów. Szczęśliwi!.. Pisałem w Petersburgu, 1828 r.

[Классические рецензенты, судящие смело и самонадеянно о важных предметах литературы, подобны местечковым политикам, которые, не читая заграничных газет, судят о тайнах

<sup>3</sup> Характерно, что, в поисках прецедентов использования рутенизмов в современной поэзии, Мицкевич упоминает и представителя «украинской школы» Богдана Залеского (Mickiewicz 1955: V, 256). Против общего противника – столичных ретроградов – поэт солидаризируется с поэтами, интенсивно использующими украинизмы.

кабинетов и действиях вождей. Счастливыц!.. Писано мной в Петербурге, 1828 г.] (Mickiewicz 1955: V, 274)

Интересно, что Мицкевич выбрал слово *miasteczkowy*, видимо, не в последнюю очередь, отделяя маркированное им свойство от «провинциальности» и «провинциализмов», позитивно окрашенных в статье. Паратекстуальное обозначение места издания сборника в конце статьи (Петербург) должно было говорить само за себя. Упрек в местечковости исходил тем самым из столицы империи. Петербург выступает здесь не только местом цивилизации, но и «смотровой точкой», с которой лучше видна как передовая литературная Европа, так и отсталость высокомерной варшавской «глуши».

Один из самых радикальных образцов непонимания мультифункциональных ориенто-рутенизмов Мицкевича представляет собой позиция почтенного поэта и критика Каэтана Кожмяна. По мнению Кожмяна, в сочинениях Мицкевича одна непристойность, низость и невоспитанность, все в них татарское, но никак не польское: какие-то «грязные литовки» возбуждают «расстроенную фантазию» Мицкевича (цит. по: Billip 1962: 334-335). Характерно, что в своем выпаде Кожмян смешивает литовские и ориенталистские языковые и поэтические реалии:

[...] i my pojedziem do Stambułu dla nauczania się języka Mickiewicza, a nauczywszy się, może będziemy wielbić [...] co mają spólnego z narodową poezją *Czatyrdahy* i *Renegaty* tureckie [...] Niemcy w swoich balladach przynajmniej swoich baronów śpiewają, a my Turków, Tatarów i Kozaków, i to jeszcze ich nawet własnym językiem.

[...и мы поедem в Стамбул, чтобы выучить язык Мицкевича, а как выучим, может быть восхвалим [...] что общего у национальной поэзии с «Чатырдагами» и «Ренегатами»? [...] Немцы в своих балладах по крайней мере воспевают своих баронов, а мы турков, татар, козаков, да к тому же на их собственном языке] (цит. по: Billip 1962: 342-343).

В своей гневной отповеди Кожмян тонко улавливает, что Мицкевич лишь внешне работает по немецкому образцу создания национальных тем и сюжетов. Рутено-ориенталистская экзотика не совсем соответствует «романтическому» императиву национальной поэзии. Кожмян, связанный слишком герметичными и пуристскими представлениями о народном и национальном, не в состоянии разглядеть действенность само-ориентализирующих и само-рутенизирующих геопозитических смещений Мицкевича<sup>4</sup>. Непонятная и неприемлемая для Кожмяна (романтическая) поэтика вскоре стала мейнстримом польской литературы. Это произошло не в последнюю очередь потому, что именно она смогла отразить и компенсировать политически и психологически сложную разделенность Польши в новых, порой противоречивых и двойственных поэтических образах и фигурах. Для молодого поколения читателей пресловутые провинциализмы Мицкевича стали выражением (анти)колониального сознания Польши.

*Burzan* (бурьян) является лишь одним из регионализмов, пронизывающих многие произведения Мицкевича виленского и российского периода и вызывавших столь различные читательские реакции. Большинство провинциализмов представляют

<sup>4</sup> Растущую популярность «Сонетов» Мицкевича Кожмян объясняет происками литовского литературного лобби (см.: Billip 1962: 335). Всеми средствами Кожмян пытается провинциализировать Мицкевича и тем самым редуцировать и дискредитировать его польскость. Характерно, что с годами Кожмян остался верен своей негативной оценке Мицкевича. Тот факт, что Мицкевич не смог участвовать в восстании 1830–31 годов, стал для Кожмяна поводом вновь напасть на своего давнего оппонента. Для нашей заметки не столько важно, что Кожмян обвинял Мицкевича в измене, сколько какими словами. «Ориенталистская» окрашенность образа Мицкевича становится фигурой аргументации: «при первом же взрыве» Мицкевич «удрал в своем крымском халате» („na pierwszy wybuch w krymskim hylacie uciekł“, Koźmian 1972: 362). «Романтическая» само-экзотизация Мицкевича подается Кожмяном как предзнаменование его будущей трусости и, тем самым, недостаточной польскости.

собой рутенизмы из литовско-белорусского языкового окружения поэта 1810–20-х годов<sup>5</sup>. Пожалуй, ключевым воплощением поэтики провинциализмов является главная драма Мицкевича, над которой поэт с перерывами работал около десяти лет, — «Дзяды». Само название драмы является лингвистической и культурной отсылкой к языческому празднику поминовения усопших, распространенному в белорусско-литвинской культурной среде. Пример «Дзядов», на котором мы здесь не имеем возможности подробно останавливаться, указывает также на то, что ориенталистские и само-ориентализирующие провинциализмы Мицкевича работают в парадигме романтического интереса к славянскому язычеству, метонимически представляющему и искомое «романтиками» народно-национальное начало. Со своей стороны, само-паганизация включает в себя аспект ужасного, жуткого и трагически-демонического, столь важного для самосознания постбайронистов<sup>6</sup>.

Поэтизацию «исконно»-языческого начала может себе позволить только литературная «цивилизация». Парадоксальным образом рутенизмы как культурные и языковые паганизмы и варваризмы содержат момент цивилизационной и самоцивилизующей, самоевропеизирующей риторики. Окольными путями метонимических самоэкзотизаций Мицкевич вписывает создаваемую польскую романтику в европейские парадигмы. Смещение параязыческих мотивов в сторону паракристианских, наблюдаемых в поздних сочинениях поэта (после 1830 года), соответствует трансформации литвина из ранних текстов — литвина как метонимии поляка — в названного прямым текстом поляка. Вектор парциального письма и эзоповой поэтики интегральности идет у Мицкевича от частичной самолитуанизации и саморутенизации к эксплицитной самополонизации. Языческие бело-рутенские Дзяды и языческие сказания литвинов и литовцев из раннеромантического творчества поэта в поздних произведениях ре-полонизируются и превращаются в паракристаллологическую мессианскую польскость 3-й части «Дзядов» (1832) и «Книг польского народа и польского паломничества» (1832). Синтезом обеих стратегий два года спустя станет литовский монумент польского единства — эпопея «Пан Тадеуш» (1834).

Суммируя сказанное, можно отметить, что Мицкевич 1820-х годов полоноцентричному и этноцентричному литературному образу Польши и поляков противопоставляет альтернативный проект идентичности по метонимическому принципу геополитической смежности. «Литва» Мицкевича, включающая в себя языковые и культурные рутенизмы — белорусизмы и украинизмы, становится поэтико-политической геокультурософемой, в которой проигрываются антиколониальные и одновременно экс-колониальные стратегии и сценарии идентичности. Польша и ее польский (поэтический, культурный, исторический) язык, по Мицкевичу, шире и сложнее того «языка», который себе представляют нормативные варшавские критики и литераторы. Не тавтологическое самоограничение, а как раз раздвижение границ поэтической и политической «Польши» обеспечивает ее существование, будущую целостность и интегрированность в европейскую (литературную) культуру.

#### ЛИТЕРАТУРА

Ананьева, Н. 2007. Язык Мицкевича и периферийные говоры // Адам Мицкевич и польский романтизм в русской литературе. М., 236–247.

Кирчів, Р. 1971. Український фольклор у польській літературі. Київ.

<sup>5</sup> О применении белоруссизмов и других рутенизмов в творчестве Мицкевича см.: Korbut 1935: 43–48, 149–154 и Ананьева 2007. О поэтике так называемых «кресов» в творчестве Мицкевича см.: Wilkoń 1999. О белорусском субстрате в польской романтике см.: Stankiewicz 1936.

<sup>6</sup> О топике ужаса в польской романтике см.: Janion 2006.

Billip, W. (ed.) 1962. Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818–1830. Antologia. Wrocław et al.

Bloom, H. 1975. *A Map of Misreading*. New York.

Czerwiński, G. 2005. Romantyczna przestrzeń stepu w poemacie „Beniowski” Słowackiego // *Ruch Literacki*, 46 (1), 1–16.

Czerwiński, G. 2010. The Steppe as a Metaphysical Prison of Death: Despair and the Absurd in Antoni Malczewski's *Marya* // *Zeitschrift für slavische Philologie*, 67 (2), 313–334.

Dmochowski, F. S. 1962a. Uwagi nad teraźniejszym stanem, duchem i dążnością poezji polskiej // Billip, W. (ed.). *Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818–1830. Antologia*. Wrocław et al., 53–65.

Dmochowski, F. S. 1962b. Uwagi nad „Sonetami” pana Mickiewicza // Billip, W. (ed.). *Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818–1830. Antologia*. Wrocław et al., 69–79.

Fabianowski, A. 1997. Filozofia stepu w „Marii” // Krukowska, H. (ed.). *Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji „Marii”*. Białystok, 287–94.

Fabianowski, A. 2006. Ukraina Michała Czajkowskiego wobec Mickiewiczowskiego modelu ojczyzny // Lyczyna, J., Bąk, M. (ed.). *W cieniu Mickiewicza*. Katowice, 190–199.

Grabowski, M. 1828. Myśli o literaturze polskiej // *Dziennik Warszawski*, 36, 107–119.

Jakobson, R. 1983. Der Doppelcharakter der Sprache und die Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik // Haverkamp, A. (ed.). *Theorie der Metapher*. Darmstadt, 163–174.

Janion, M. 2006. *Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury*. Kraków.

Koschmal, Walter 2005. Europa mit der Seele suchen // Göbler, F. (ed.). *Polnische Literatur im europäischen Kontext. Festschrift B. Schultze zum 65. Geburtstag*. München, 57–88.

Korbut, G. 1935. *Szkice i drobiazgi historyczno-literackie*. Warszawa.

Koźmian, K. 1972. *Pamiętniki*. T. III. Wrocław.

Man, P., de 1979. *Allegories of Reading*. New Haven.

Mickiewicz, A. 1826. *Sonety*. Moskwa.

Mickiewicz, A. 1955. *Dzieła*. Warszawa.

Nieukerken, A., van 2008. „Maria”, a Poetic Tale of Antoni Malczewski about the Abundant Ukraine and the Vacant Steppe // Haard, E., de (ed.). *Literature and Beyond*. Vol. I. Amsterdam, 465–491.

Ritz, G. 2010. Die polnische romantische Kosakenfigur zwischen Mythos und Geschichte // Surynt, I., Zybura, M. (ed.). *Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert*. Osnabrück, 121–146.

Ruwet, N. 1983. Synekdochen und Metonymien // Haverkamp, A. (ed.). *Theorie der Metapher*. Darmstadt, 253–282.

Stankiewicz, S. 1936. *Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej*. Cz. I (do roku 1830). Wilno.

Wilkoń, A. 1999. Styl kresowy Mickiewicza // Kurzowa, Z., Cygal-Krupowa, Z. (ed.). *Mickiewicz i kresy*. Kraków, 33–54.

Zadencka, Maria 2007. Zeichen der Exterritorialität. Ukraine-Bilder in den Werken polnischer Romantiker // Gall, A., Grob, Th., Lawaty, A., Ritz, G. (ed.). *Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive*. Wiesbaden, 311–329.